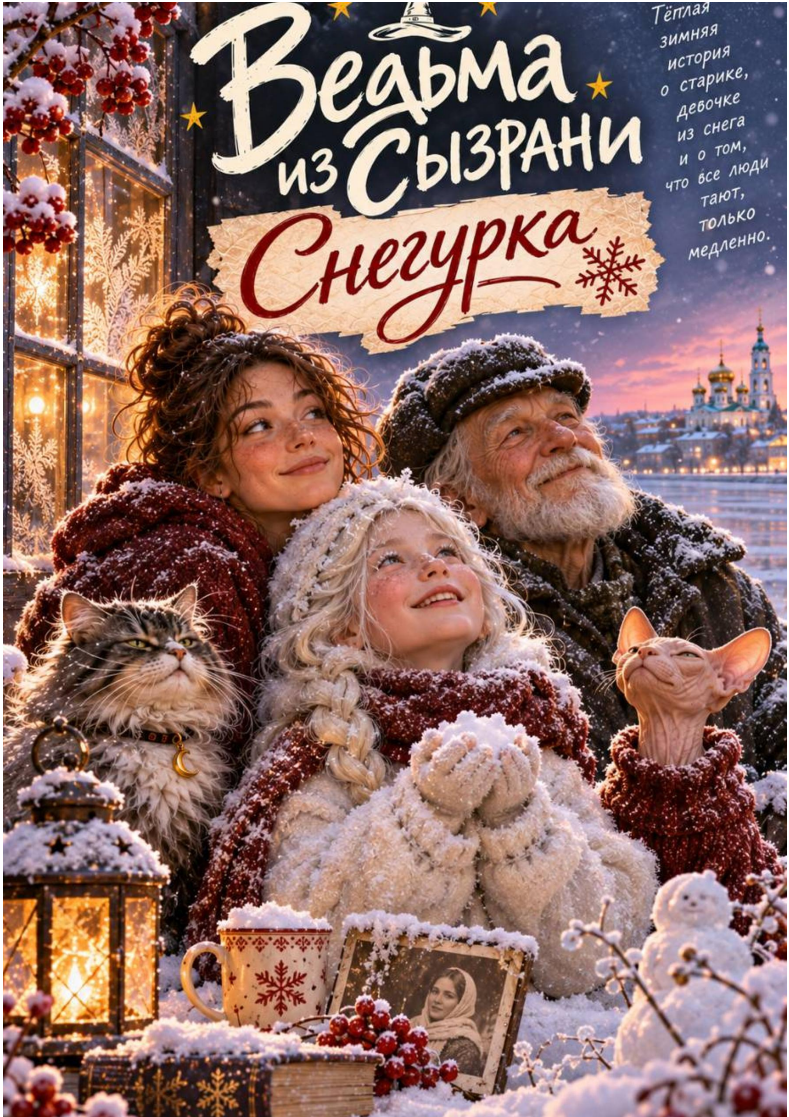

Ведьма из Сызрани
Снегурка
Тёплая зимняя история о старике, девочке из снега и о том, что все люди тают, только медленно.

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Снегурка

https://litres.ru/74731442
SelfPub; 2026

Аннотация

Ноябрь 2033 года. В первый снег восьмидесятитрёхлетний вдовец Михеич лепит с соседскими детьми снежную девочку и повязывает ей шарф покойной жены. В четыре утра она приходит к его окну живая: босая, с белыми ресницами, ест снег горстями и называет его «деда».

Это дочь Мороза. К солнцевороту, 22 декабря, отец её заберёт, а если она останется, то весной растает. И тает она не от тепла, а от любви. Каждый раз, когда её любят, она становится меньше на сантиметр.

Опека требует документы и грозит забрать ребёнка в детдом, где батареи. Город замерзает при минус тридцати четырёх, и на всех окнах проступает одно слово: «Верните». А спасти девочку может не колдовство, а свидетельство о рождении, если успеть оформить его на льду Волги, на рассвете самого короткого дня в году.

Тёплая зимняя история о старике, девочке из снега и о том, что все люди тают, только медленно.

Содержание

Глава 1. Первый снег 5
Глава 2. Девочка во дворе 13
Глава 3. Тамара Геннадьевна 22
Глава 4. Сорок восемь пломбиров 31
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Снегурка

Ведьма из Сызрани. Снегурка

Серия «Ведьма из Сызрани». Книга семнадцатая

Глава 1. Первый снег

Первый снег пришёл в Сызрань двенадцатого ноября, ночью, без предупреждения — синоптики обещали дождь, — и к утру лёг на город ровно, тихо, по щиколотку, так что Михеич, выйдя на крыльцо в половине шестого со своим велосипедом, остановился и долго стоял, держа руль, и не мог решить, ехать ему за кефиром или нет.

Решил — не ехать.

Впервые за шестьдесят лет.

Он прислонил велосипед к стене сарая, вернулся в дом, поставил чайник и сел у окна. Смотрел на двор. На белые крыши Нижне-Кирпичной. На белую яблоню, которую сажала Клава в семьдесят шестом, когда они только въехали в этот дом. На белую скамейку у забора, где Клава любила сидеть летом, лузгая семечки и переругиваясь через забор с соседкой.

Клава умерла в двадцать первом. Двенадцать лет назад. Детей у них не было. Не получилось. Сначала ждали, потом лечились, потом перестали говорить об этом вслух, а потом стало поздно, и Клава сказала однажды за ужином: «Ну что, Володя, будем друг другу детьми», — и больше они к этому не возвращались.

Михеич допил чай. Посмотрел на часы. Без четверти семь.

В соседнем дворе хлопнула дверь. Выбежали дети — Таня

и Ваня Сорокины, восьми и шести лет, внуки соседки, которых на неделю привезли из Самары, пока родители в командировке. Выбежали в одних куртках, без шапок, и сразу — в снег. Лицом. Руками. Ногами.

Михеич смотрел на них через забор.

Потом встал. Надел телогрейку. Вышел.

— Эй, — сказал он через забор. — Мелкие. Хотите — бабу слепим?

Таня и Ваня посмотрели на него с подозрением. Им было известно, что дед из соседнего двора ворчливый, ездит на велосипеде и ругается на собак.

— Снежную? — уточнила Таня.

— Ну не тряпичную же.

Лепили до обеда.

Снег был хороший — первый, мокрый, липкий, сам скатывался в шары. Ваня катал нижний ком, пыхтя и падая. Таня — средний. Михеич — голову. Потом выяснилось, что бабу дети не хотят. Хотят девочку.

— Бабы — некрасивые, — объяснила Таня. — С ведром на голове. Как бомж. А девочка — с косичками.

— Из снега косички не слепишь, — сказал Михеич.

— Слепишь, — сказал Ваня. Очень уверенно. — Ты взрослый. Ты всё можешь.

Михеич посмотрел на него. Шесть лет. Красный нос. Мокрые варежки. Смотрит снизу вверх — так, как никто на Михеича не смотрел, наверное, лет тридцать.

— Ладно, — сказал Михеич. — Девочку.

Получилась — небольшая. Метр с небольшим. Не баба — фигурка. Михеич сам удивлялся, как у него вышло: узкие плечи, тонкая шея, руки, сложенные на груди, — Ваня настоял, чтобы руки были, «как у живой». Голову Михеич лепил дольше всего. Скулы, подбородок. Нос — не морковкой, а маленький, курносый, из того же снега. Глаза — две впадинки, в которые Таня вдавила по угольку из Михеичевой печки. Рот — щёлочка. Косички — из снежных жгутов, которые Михеич скатывал в ладонях, как когда-то в детстве катал пластилиновых червяков.

Когда закончили, Таня отступила на шаг.

— Как живая, — сказала она. Шёпотом.

— Ей холодно, — сказал Ваня.

— Снегу холодно не бывает, — сказал Михеич.

— Ей — холодно, — упрямо повторил Ваня. — Посмотри. Она голая.

Михеич посмотрел.

Девочка стояла посреди его двора. Белая. Тонкая. С угольками вместо глаз. С руками, сложенными на груди, будто она и правда зябла.

Он постоял. Потом пошёл в дом.

Вернулся с шарфом. Длинным. Вязаным. Голубым, с белыми снежинками. Клава вязала его в последнюю зиму. Не довязала — кончик остался без кисточки. Михеич так и не убрал его в шкаф. Висел на крючке в прихожей двенадцать

лет.

Михеич обмотал шарф вокруг снежной шеи. Дважды. Концы свесились почти до земли.

— Ну вот, — сказал он. — Теперь не голая.

Дети ушли обедать. Михеич постоял ещё. Посмотрел на снежную девочку в Клавином шарфе.

— Ну, стой, — сказал он ей. Неизвестно зачем. — Не замёрзни.

И пошёл в дом.

Ночью ударил мороз. Первый в эту зиму. Минус восемнадцать.

Михеич проснулся в четыре утра от тишины.

Он не сразу понял, что разбудило. Лежал, слушал. Тикали ходики. Капал кран на кухне — он всё собирался его починить. За окном — ни ветра, ни машин, ни собак.

А потом услышал.

Кто-то дышал. Во дворе. Под окном.

Тихо. Ровно. Как дышат дети во сне.

Михеич встал. Не включая света, подошёл к окну. Отодвинул занавеску.

Луна стояла высоко. Белая, круглая, ледяная. Двор был залит её светом — голубым, холодным, ясным, как днём. Каждый сугроб. Каждая ветка яблони. Велосипед у сарая.

Снежная девочка стояла посреди двора. Там, где они её слепили.

Только руки у неё были не на груди.

Они висели вдоль тела. Тонкие. Белые.

И голова была повёрнута. Не прямо, как лепили. Чуть вбок. К окну.

К нему.

Михеич стоял за занавеской. Не дышал.

Девочка смотрела на окно. Угольками. Потом — медленно, очень медленно, как поворачивается флюгер в безветрие, — подняла одну руку. Белую. Тонкую. До шарфа. Взялась за голубой вязаный конец. За тот, что без кисточки. И потянула. Чуть-чуть. Как тянут, когда хотят плотнее укутаться.

Михеич отпустил занавеску.

Сел на кровать. Посидел. Посмотрел на свои руки — старые, узловатые, слесарские, в тёмных пятнах.

— Ну, Клава, — сказал он вслух. — Ну, Клава.

Потом встал. Надел телогрейку. Валенки.

И вышел на крыльцо.

Мороз ударил в лицо. Звёзды висели низко. Снег скрипел под валенками так громко, что было слышно, наверное, на соседней улице.

Девочка стояла посреди двора.

Не снежная.

Живая.

Маленькая. Лет шести. Тонкая, как прутик. В белом — не в платье, не в куртке, а в чём-то белом, сыпучем, мерцающем под луной, как иней на ветке. Ноги — босые. Белые. На снегу — и снег под ними не таял.

Волосы — белые. Две косички. Длинные. До пояса.

Лицо — белое. Совсем. Даже губы. Только чуть-чуть синеватые, как бывают у детей, которые слишком долго купались.

Ресницы — в инее. Длинные. Белые.

А глаза — Михеич подошёл ближе, хотя ноги не слушались, — глаза были чёрные. Блестящие. Как два уголька из его печки.

На шее у неё был шарф. Голубой. С белыми снежинками. Без кисточки на одном конце.

Девочка смотрела на него. Не мигая.

Михеич остановился в двух шагах.

— Ты… — Голос не слушался. — Ты чья?

Девочка подумала. Долго. Как будто вспоминала, как говорят слова.

Потом сказала. Тонко. Тихо. Голосом, похожим на звон сосульки, когда по ней стукнешь ногтем.

— Твоя.

Михеич стоял на снегу. В телогрейке. В валенках. В четыре часа ночи. Восемьдесят три года.

— Ты меня сделал, — сказала девочка. — Ты. И мальчик. И девочка. — Она потрогала шарф. — И дал. Тёплое.

Она шагнула к нему. Босиком. По снегу.

Протянула руку. Белую. Тонкую.

Михеич смотрел на эту руку. Долго.

Потом — не думая, не понимая, ничего не понимая —

снял с себя телогрейку. И накинул ей на плечи.

Девочка вздрогнула. Всем телом.

— Горячо, — сказала она. Испуганно. — Горячо!

Телогрейка соскользнула на снег. Там, где она касалась белых плеч, — Михеич видел — по коже прошли капли. Как по стеклу, когда в мороз занесёшь его в дом.

Девочка отступила. Обхватила себя руками.

— Не надо тёплое, — сказала она. Тихо. — Надо — вот. — Она снова тронула шарф. — Только это. Это — можно. Это — не жжётся.

Михеич стоял без телогрейки. В майке. На морозе.

Не чувствовал холода.

— Почему это — можно? — спросил он. Хрипло.

Девочка посмотрела на шарф. На голубые петли. На белые снежинки, вывязанные кем-то, кого она никогда не видела.

— Потому что его кто-то для тебя вязал, — сказала она. — А ты — для меня отдал. — Она подняла чёрные глаза. — Это не огонь. Это другое. Это — можно.

Где-то за забором, в соседнем доме, зажёгся свет. Потом — заскрипела дверь.

— Владимир Михеич! — Голос соседки. Сонный. Испуганный. — Вы чего там? Четыре часа! Вы в майке?! Вы с ума сошли?!

Михеич не обернулся.

Смотрел на девочку.

— Ты есть хочешь? — спросил он. Глупо. Первое, что

пришло.

Девочка подумала.

Потом наклонилась. Зачерпнула ладонью снег. Свежий. Белый. Скрипучий.

И съела. Медленно. С закрытыми глазами. Как едят мороженое.

— Хочу, — сказала она.

В половине шестого утра у Василисы на тумбочке зазвонил телефон.

Номер — Михеича. Михеич не звонил ей никогда. Ни разу за семь лет. Если что-то было нужно — приезжал на велосипеде.

— Ведьма, — сказал он в трубку. Без «здравствуй». Голос был такой, какого Василиса у него не слышала даже в бане, когда собирали каменку. — Ведьма. Приезжай.

— Что случилось?

Михеич долго молчал. В трубке было слышно, как он дышит. И ещё — как скрипит снег. И как кто-то тонкий, звонкий, похожий на сосульку, что-то говорит рядом.

— У меня во дворе девочка, — сказал наконец Михеич. — Я её вчера слепил. — Он помолчал так долго, что Василиса успела сесть на кровати. — А она — пришла.

Глава 2. Девочка во дворе

Василиса приехала на такси в шесть двадцать. С Модестом в сумке. Егор остался с детьми — он посмотрел на неё, когда она одевалась в темноте, и спросил только: «Опасно?» Василиса сказала: «Не знаю». Егор кивнул и пошёл ставить кашу.

У калитки Михеича стояла соседка. Галина Сорокина. В пуховике поверх ночной рубашки. С телефоном в руке.

— Я ничего не понимаю, — сказала она Василисе. Быстро, шёпотом, не здороваясь. — Он в четыре утра в майке во дворе стоял. С какой-то девочкой. Босой. Я выбежала — он говорит: «Галя, иди спать». Я говорю — Владимир Михеич, чей это ребёнок, она же замёрзнет! А он: «Не замёрзнет. Иди спать». — Галина сглотнула. — Я в полицию хотела. Потом подумала — вы же. Вы же у нас по таким делам.

— По каким?

Галина посмотрела на неё. Потом через забор — во двор.

— Она снег ест, — сказала она. — Горстями. Я видела. И пар у неё изо рта не идёт.

Василиса вошла во двор.

Девочка сидела на скамейке у забора. На той самой, Клавиной. Босиком. В белом мерцающем, похожем на иней. В голубом шарфе. Болтала ногами.

Рядом стоял Михеич. В телогрейке, наконец, — но без

шапки. Смотрел на неё так, как смотрят на воду, которая вдруг потекла вверх.

Увидел Василису. Сказал:

— Вот.

И больше ничего.

Девочка перестала болтать ногами. Повернула голову. Посмотрела на Василису чёрными угольками-глазами.

Иней на ресницах. Белые косички. Синеватые губы. На щеках — ни румянца, ни веснушек, ничего: кожа как свежий снег, на который ещё никто не наступил.

Василиса повернула ручку настройки.

И первую секунду ничего не поняла.

Нитки у девочки были. Но не такие, как у людей. Не тёплые, не цветные, не мягкие. Тонкие, прозрачные, звенящие — как сосульки, если бы сосульки были длинными, как пряжа. Они расходились от неё во все стороны. К снегу на крыше. К снегу на яблоне. К инею на заборе. К морозным узорам на окнах. К каждой снежинке, которая ещё висела в воздухе. И дальше — за забор, за Нижне-Кирпичную, за город, за Волгу. На север. Туда, где кончались дома и начинались белые поля. И ещё дальше.

Как будто девочка была не девочкой, а узлом. Маленьким узелком огромной ледяной сети, которая лежала на всей земле.

Кроме одной.

Одна нитка была другая. Тёплая. Голубая. Мягкая. Как

шерсть.

От девочки — через шарф — к Михеичу.

— Здравствуй, — сказала Василиса.

Девочка подумала.

— Здравствуй, — повторила она. Звон сосульки. — Ты — тёплая.

— Немножко.

— Не подходи, — сказала девочка. Не зло. Как предупреждают о мокрой краске. — Ты тёплая. Как он. — Она кивнула на Михеича. — Он меня сначала в горячее одел. Я чуть не потекла.

Модест высунулся из сумки.

Посмотрел на девочку. Долго. Не мигая.

Потом вылез. Целиком. Встал на снег — и поморщился, и поднял одну лапу, и поставил обратно. Подошёл к скамейке. Сел в метре от неё. Обвил лапы хвостом.

Девочка посмотрела на него.

— Кот, — сказала она. Удивлённо. — Чёрный.

— Чёрный, — согласился Модест.

Девочка не вздрогнула. Не удивилась, что кот говорит. Как будто это было самое обычное дело.

— Ты старый, — сказала она. — Двести лет.

— Двести двадцать три, — сказал Модест.

— Ты меня видел, — сказала девочка. — Давно. Сто лет назад. В Самаре. Ты на крыше сидел. Я мимо шла.

Модест долго молчал.

— Девятьсот тридцать третий, — сказал он наконец. Медленно. — Ноябрь. Первый снег. — Он помолчал. — По Дворянской шла девочка. Босиком. В белом. Я с крыши смотрел. Все прохожие мимо шли и не видели. А я — видел. Думал — показалось.

— Не показалось, — сказала девочка.

— Ты тогда к кому шла?

Девочка подумала.

— Ни к кому, — сказала она. — Просто — посмотреть. На людей. Он нас пускает. Раз в сто лет. На первый снег. Посмотреть. — Она помолчала. — А на солнцеворот — забирает.

— Кто — он?

Девочка посмотрела на Модеста. Потом — на север. Туда, куда уходили её прозрачные звенящие нитки.

— Отец, — сказала она.

Модест медленно повернулся к Василисе.

— Это не нечисть, Васёна, — сказал он. Тихо. — Не дух. Не бес. Не домовой. — Он помолчал. — Это — зима. Кусочек. Дочка Мороза. — Ещё помолчал. — Снегурка.

Михеич, стоявший рядом, вздрогнул.

— Это сказка, — сказал он. Хрипло.

— Ага, — сказал Модест. Михеич, разумеется, услышал «мяу», но кот и не к нему обращался. — А банник в кране — тоже сказка была. Пока не потекла ледяная.

Девочка болтала ногами. Ела снег. Горсть за горстью.

Смотрела на них.

— В тридцать третьем, — спросила Василиса, — ты тоже к кому-то пришла? Как сейчас?

Девочка покачала головой.

— Не пришла, — сказала она. — Сама шла. — Она потрогала шарф. — А сейчас — пришла. Потому что сделали. Он сделал. — Кивок на Михеича. — И мальчик с девочкой. Руками. С косичками. — Она подумала. — Так никогда не было. Раньше я сама приходила. А сейчас — меня позвали. Слепили. Шарф дали.

— И что это значит?

Девочка долго молчала. Смотрела на свои белые руки.

— Не знаю, — сказала она. — Я никогда раньше не была — чья-то.

Михеич сел на скамейку. Рядом с ней. На другой край. Чтобы не тёплый, не близко.

Девочка посмотрела на него.

Потом — медленно, осторожно, как трогают горячий чайник, — подвинулась. На сантиметр. К нему.

Остановилась.

Ещё на сантиметр.

Михеич сидел неподвижно. Не дышал.

Девочка остановилась в ладони от его телогрейки. Посидела. Потом сказала:

— Отсюда — можно. Дальше — горячо.

— Ладно, — сказал Михеич. — Отсюда.

К девяти утра в доме Михеича были все.

Егор — привёз детей, потому что в сад их не повели: Гаша, услышав за завтраком слово «Снегурочка», объявила, что если её не возьмут, она поднимет в воздух сарай, а Алёша просто молча оделся и встал у двери. Фрол Евсеич — по телефону: Василиса держала трубку на громкой связи, а домовой из-под печки на Верхне-Кирпичной говорил: «Ох ты. Морозова. Ох, девка, ты смотри — тепла не давай. Она от тепла — как сосулька в апреле». Никита — прибежал сам, после первого урока, сказал, что отпросился «по семейным обстоятельствам», и это даже была правда.

Девочка сидела на скамейке. Гаша — напротив, на снегу, по-турецки. Смотрели друг на друга.

Гаша хмурилась. Девочка — нет. Девочка вообще ничего не делала с лицом. Оно у неё было как снег — гладкое, неподвижное.

— Ты почему не моргаешь? — спросила Гаша.

Девочка подумала. Моргнула. Иней на ресницах осыпался.

— Так?

— Так, — одобрила Гаша. — Тебя как зовут?

Девочка подумала. Долго.

— Никак, — сказала она.

— Так нельзя, — сказала Гаша строго. — У всех есть. У меня — Агафья. У него — Алёша. У кота — Модест Агафьевич.

— У меня нету, — сказала девочка. — Отец зовёт — «дочка». Сёстры зовут — никак. Нас много. Нас не зовут. Мы просто — идём.

Гаша нахмурилась сильнее.

— Тогда я тебе придумаю, — сказала она.

— Нет, — сказал Михеич.

Все посмотрели на него.

Михеич стоял у крыльца. В телогрейке. Без шапки. Красный от мороза.

— Не надо придумывать, — сказал он. Глухо. — Сейчас — не надо. — Он смотрел на девочку. — Имя — это… Его не придумывают. Его дают. Когда… — Он не договорил.

Василиса поняла.

Михеич боялся. Что если дать имя — она станет совсем своей. А если станет своей — будет больнее, когда отец заберёт.

Гаша посмотрела на Михеича. Долго. Нахмуренная. Потом медленно разгладила брови.

— Ладно, — сказала она. — Потом.

Девочка смотрела на Михеича. Чёрными угольками.

— А ты кто? — спросила она его. — Как тебя — зовут?

Михеич открыл рот. Закрыл.

— Михеич, — сказал он. — Владимир Михеич.

Девочка попробовала. Губами. Беззвучно. Потом — вслух.

— Деда, — сказала она.

Не «Михеич». Не «Владимир». Не повторила. Просто сказала — «деда». Как будто знала это слово всегда. Как будто это было первое слово, которое ей положили в голову, когда лепили.

Михеич отвернулся. Резко. К забору.

— От мороза, — сказал он. Хрипло. Никто не спрашивал.

Модест, сидевший у Василисиных ног, тихо сказал:

— Васёна. Посмотри на её ресницы.

Василиса посмотрела.

Иней на белых ресницах — тот, что осыпался, когда девочка моргнула, — не вернулся. А на кончиках ресниц висели капли. Маленькие. Прозрачные. Одна — сорвалась. Скатилась по белой щеке. Упала на шарф.

— Она тает, — сказал Модест. — Чуть-чуть. Вот сейчас. Когда сказала «деда».

Девочка тоже заметила. Потрогала щёку. Посмотрела на мокрый палец.

— Ой, — сказала она. Удивлённо. — Вода.

В одиннадцать утра у Никиты в телефоне всплыло уведомление.

Паблик «Подслушано Сызрань». Сто двадцать тысяч подписчиков. Новый пост. Фотография — сделана через забор, на телефон, мутная: двор, сугробы, скамейка, маленькая белая фигурка босиком на снегу и старик в телогрейке рядом.

Подпись:

«Нижне-Кирпичная. Дед держит ребёнка на морозе БО-

СИКОМ с четырёх утра!!! Девочке лет 5-6, одета в какое-то бельё. Соседи в шоке. Куда смотрит опека??? Перепост!!!»

Под постом — четыреста комментариев.

Последний — двадцать минут назад:

«Отдел опеки администрации г. о. Сызрань: Информация принята. Выезд назначен на сегодня, 14:00».

Глава 3. Тамара Геннадьевна

Тамара Геннадьевна Савельева, главный специалист отдела опеки и попечительства, приехала ровно в четырнадцать ноль-ноль. На служебной «Ладе» с наклейкой на дверце. С папкой. С полицейским — молоденьким сержантом, которого Егор не знал и который явно не понимал, зачем его сюда привезли.

Василиса узнала её сразу.

Пять лет назад, в двадцать восьмом, эта же женщина приходила в дом на Верхне-Кирпичной по анонимной жалобе. Ходила по комнатам. Заглядывала в холодильник. Смотрела на Модеста — долго, с подозрением, как будто кот был главной уликой. Записывала. Ушла — и через неделю прислала акт: «Нарушений не выявлено. Условия проживания детей удовлетворительные». А в конце, от руки, мелко: «Кот ухоженный».

Тамара Геннадьевна за пять лет не изменилась. Невысокая, плотная, в сером пальто, в меховой шапке, с короткой седой стрижкой и с лицом человека, который двадцать лет видел то, чего лучше бы не видеть, и научился ничему не удивляться.

Она вошла во двор. Посмотрела на Михеича. На Василису. На Егора в форме. На детей. На Никиту. На кота.

Потом — на скамейку.

Скамейка была пустая.

— Где ребёнок? — спросила Тамара Геннадьевна.

Михеич кивнул на сарай.

Тамара Геннадьевна посмотрела на сарай. Дощатый. Щелястый. С висячим замком, который сейчас был открыт. Без окон. Без печки. Без света.

Лицо у неё не изменилось. Только губы сжались чуть сильнее.

— В сарае, — сказала она. Ровно. — При минус двенадцати.

— Ей там хорошо, — сказал Михеич.

Тамара Геннадьевна повернулась к нему.

— Владимир Михеевич, — сказала она. — Вам восемьдесят три года. Вы вдовец. Проживаете один. Ребёнок, судя по фотографиям, — пять-шесть лет. Неизвестного происхождения. Без документов. Без верхней одежды. С четырёх утра — на улице. Сейчас — в неотапливаемом помещении. — Она открыла папку. — Вы понимаете, как это выглядит?

— Понимаю, — сказал Михеич.

— И?

Михеич молчал.

Тамара Геннадьевна закрыла папку. Подошла к сараю. Открыла дверь.

Внутри было темно. Пахло деревом, бензином, старой резиной. Вдоль стен — Михеичевы инструменты, банки с гвоздями, велосипедные колёса, лыжи семидесятых годов. На

полу — сено. Михеич натаскал утром из соседского сенника.

На сене, в углу, сидела девочка.

Белая. Босая. В голубом шарфе. Перебирала руками сухие травинки.

Подняла голову. Посмотрела на Тамару Геннадьевну. Угольками.

Тамара Геннадьевна стояла в дверях. Долго.

— Здравствуй, — сказала она наконец. Совсем другим голосом. Не служебным. Мягким. Таким, каким, наверное, двадцать лет разговаривала с детьми, которых забирала из квартир, где не было еды, или из машин, где их забыли. — Меня зовут Тамара. А тебя?

— Никак, — сказала девочка.

— Никак, — повторила Тамара Геннадьевна. Без удивления. Видимо, слышала и такое. — Тебе холодно?

— Нет.

— Ты здесь давно сидишь?

— С утра. Тут хорошо. Тут не горячо.

Тамара Геннадьевна присела на корточки. В пальто. На сено. Посмотрела на белые босые ноги.

— Можно я тебя потрогаю? — спросила она. — За руку. Только за руку.

Девочка подумала.

— Ты тёплая, — сказала она. — Немножко можно. Недолго.

Тамара Геннадьевна протянула руку. Взяла девочкину ла-

донь. Маленькую. Белую.

И Василиса, стоявшая за её спиной, увидела, как изменилось лицо главного специалиста отдела опеки.

Не сразу. Сначала — профессиональное: она нащупывала пульс, как, видимо, её учили на курсах первой помощи. Потом — замешательство: пульса не было. Потом — что-то другое. Она смотрела на свою руку. На пальцы, которыми держала детскую ладонь.

Пальцы покрывались инеем.

Тонким. Белым. Узорчатым. Как окно в мороз. От кончиков — к костяшкам. К запястью. Под рукав пальто.

Тамара Геннадьевна не отпустила.

Держала. Пять секунд. Десять.

Девочка смотрела на неё. Чёрными угольками.

— Отпусти, — сказала она тихо. — Тебе будет больно.

Тамара Геннадьевна отпустила.

Медленно поднесла руку к лицу. Посмотрела на иней. На узоры — папоротники, перья, звёзды, — проросшие по её коже, по обручальному кольцу, по часам.

Иней таял. Медленно. На глазах. Стекал каплями на рукав.

Тамара Геннадьевна смотрела на него.

Потом медленно встала. Вышла из сарая. Закрыла дверь — не до конца, оставив щель.

Повернулась к Василисе.

— Круглова, — сказала она. — Пять лет назад. Ваш дом.

Кот. — Она перевела дыхание. — Я тогда подумала, что у меня от недосыпа. Мне показалось, что ваш кот сказал «бюрократка». Когда я в холодильник полезла.

— Он сказал, — подтвердила Василиса.

— Я так и думала, — сказала Тамара Геннадьевна.

Она стояла посреди Михеичева двора. В сером пальто. С мокрым рукавом.

— Объясните, — сказала она. — Только коротко. У меня в три совещание.

Василиса объяснила. Коротко. Насколько можно коротко объяснить, что во дворе у слесаря на пенсии сидит в сарае дочь Мороза, которую он вчера слепил с соседскими внуками и которая сегодня ночью пришла.

Тамара Геннадьевна слушала. Не перебивала. Иногда кивала. Сержант за её спиной слушал тоже — с открытым ртом.

Когда Василиса закончила, Тамара Геннадьевна долго молчала.

— Я двадцать два года в опеке, — сказала она наконец. — Я видела детей, которых держали в собачьих будках. Детей, которые ели из помойки. Детей, которые три дня сидели с мёртвой матерью, потому что боялись открыть дверь. — Она смотрела на сарай. — Я видела всё, Круглова. Я думала — всё.

Она помолчала.

— Этого я не видела.

— Что вы будете делать? — спросил Егор.

Тамара Геннадьевна посмотрела на него. На участкового. На его форму.

— Шмелёв, — сказала она. — Вы понимаете, что я обязана?

— Понимаю.

— Ребёнок без документов. Без установленной личности. Без законного представителя. По закону я обязана поместить его в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сегодня. — Она помолчала. — Центр на Кирова. Хороший. Я там всех знаю. Там тепло. Там батареи. Там двадцать четыре градуса.

Михеич шагнул вперёд.

— Она там…

— Я знаю, — сказала Тамара Геннадьевна. Тихо. — Я видела иней. Я понимаю.

Она посмотрела на свою руку. Мокрую. Уже без узоров.

— Сколько у неё времени? — спросила она. — Этот… отец. Когда он её заберёт?

— На солнцеворот, — сказала Василиса. — Двадцать второго декабря.

— Сорок дней, — сказала Тамара Геннадьевна. Быстро. Привычно считая. — А если не заберёт?

— Тогда она останется. Здесь. До весны. — Василиса помолчала. — А весной — растает.

Тамара Геннадьевна смотрела на неё.

— Если только… — Василиса не договорила. Сама не зна-

ла, что «если только».

— Если только — что?

— Не знаю, — сказала Василиса честно. — Пока не знаю.

Тамара Геннадьевна долго молчала. Смотрела на сарай. На щель в двери. На белую босую ногу, которая виднелась в щели, — девочка подтянула её под себя, на сено.

Потом открыла папку. Достала бланк. Ручку. Начала писать. Быстро. Ровным почерком отличницы, двадцать два года заполнявшей одни и те же формы.

— Что вы пишете? — спросил Егор.

— Акт обследования, — сказала Тамара Геннадьевна, не поднимая головы. — «По месту выезда ребёнок не обнаружен». — Она помолчала. — «Со слов заявителя, гражданина Кузнецова В. М., несовершеннолетняя находится у родственников. Местонахождение уточняется».

Сержант за её спиной открыл рот шире.

— Тамара Геннадьевна, — сказал он. — Так она же в сарае.

Тамара Геннадьевна подняла на него глаза. Сержант закрыл рот.

— Вы её видели, сержант? — спросила она.

— Ну… да. Белая такая. Босиком.

— Белая босая девочка, которая сидит при минус двенадцати на сене и от которой рука покрывается инеем, — медленно проговорила Тамара Геннадьевна. — Вы это хотите вписать в рапорт? В свой первый месяц службы?

Сержант подумал.

— Не обнаружен, — сказал он.

— Не обнаружен, — согласилась Тамара Геннадьевна.

Она дописала. Подписала. Протянула Егору.

— Подпишите как участковый. — Это даёт вам десять дней. Через десять дней — повторный выезд. Плановый. — Она посмотрела на Василису. — Если к этому времени у ребёнка не будет документов, законного представителя и тёплой одежды, — она запнулась, — то есть… Если не будет документов — я её заберу. И никакой акт мне не поможет. Меня уволят, а её всё равно заберут. Только уже не я, а кто-то, кто инея не видел.

Она закрыла папку.

— Десять дней, Круглова, — сказала она. — Двадцать второе ноября.

Она пошла к калитке. Сержант — за ней.

У калитки Тамара Геннадьевна остановилась. Обернулась.

— Владимир Михеевич, — сказала она. — Ей что-нибудь нужно? Еда? Одежда?

Михеич стоял посреди двора. В телогрейке. Без шапки.

— Мороженое, — сказал он. — Она снег ест. Но сказала — хочет попробовать мороженое. Сосед мальчишка ей рассказал.

Тамара Геннадьевна кивнула.

Ушла.

Через сорок минут к калитке Михеича подъехала служебная «Лада». Из неё вышел молоденький сержант. С двумя пакетами из «Магнита». Поставил их у калитки. Сел обратно. Уехал.

В пакетах было сорок восемь пломбиров. В вафельных стаканчиках. И записка — на бланке отдела опеки, ровным почерком отличницы:

«Это не взятка. Это — гуманитарная помощь. Т. Г. С.».

Глава 4. Сорок восемь пломбиров

Первый пломбир она ела полчаса.

Сидела на сене в сарае, держала вафельный стаканчик двумя руками, как держат свечку в церкви, и откусывала по крошечному кусочку. Не жевала. Держала во рту, пока не растает. Глотала. Закрывала глаза.

Михеич сидел на перевёрнутом ящике у двери. Смотрел.

— Ну как? — спросил он, когда стаканчик кончился.

Девочка открыла глаза. Чёрные. Блестящие.

— Сладко, — сказала она. Удивлённо. — Снег — не сладкий. Лёд — не сладкий. А это — сладкое и холодное. Сразу. — Она подумала. — Я не знала, что так бывает.

— Ещё хочешь?

Девочка посмотрела на пакеты у двери. На сорок семь оставшихся пломбиров.

— Хочу, — сказала она. — Но потом. Сейчас — я думаю.

— О чём?

— О том, что бывает сладкое и холодное, — сказала она. — Я сто лет назад не знала. И двести лет назад не знала. — Она вдохнула, по-детски, глубоко. — Отец не знает. Я ему расскажу.

Михеич отвернулся. Посмотрел на велосипедные колёса на стене.

Пломбиры он сложил в бочку из-под дождевой воды, ко-

торая стояла в углу двора и зимой всё равно пустовала. Бочку прикрыл фанерой. Сверху положил кирпич — от кошек. Девочка смотрела, как он это делает, и сказала: «Ты как отец. Он тоже всё прячет. Под лёд».

Михеич не знал, комплимент это или нет.

Спать она не спала.

Михеич понял это в первую же ночь. Он постелил ей на сене старый тулуп — овчиной вверх, она отказалась: «горячо», тулуп пришлось убрать. Тогда он постелил брезент. Она легла на брезент, на бок, подложив ладони под щёку, как ложатся спать дети. Закрыла глаза.

Михеич ушёл в дом. Лёг. Не спал. В три часа ночи встал, надел валенки, вышел.

Девочка сидела у двери сарая. На пороге. Смотрела на небо.

— Ты чего не спишь? — спросил он.

— Я не сплю, — сказала она. — Никогда. — Она подумала. — Мы не спим. Мы ждём. Пока снег идёт — мы ходим. Пока не идёт — ждём.

— Чего ждёте?

— Снега, — сказала она просто. — Или солнцеворота.

Михеич постоял. Потом сходил в дом, принёс табуретку. Сел рядом с ней. Не близко. На расстоянии ладони.

— Тогда я тоже посижу, — сказал он.

— Тебе холодно.

— Мне восемьдесят три года, — сказал Михеич. — Мне

всегда холодно. Хоть здесь, хоть в доме. — Он помолчал. — Клава меня грела. Двенадцать лет как не греет. Так что разницы никакой.

Девочка посмотрела на него. Долго.

— Клава — это которая шарф вязала?

— Она.

— Она тёплая была?

Михеич подумал.

— Тёплая, — сказал он. — Как печка. Ворчливая. Как печка, когда в ней дрова трещат. — Он помолчал. — Она бы тебя сразу в дом потащила. Чаем поить. С малиной. И ты бы растаяла.

Девочка тронула шарф. Голубой конец. Без кисточки.

— А шарф — не жжётся, — сказала она. — Почему?

Михеич долго молчал.

— Потому что она его не доделала, — сказал он наконец. — Кисточку. Не успела. — Он смотрел на звёзды. — Может, вещь, которую не доделали, — она ещё не совсем тёплая. Ещё ждёт.

Девочка смотрела на него.

Потом медленно — на сантиметр — подвинулась ближе. К его табуретке.

И Михеич увидел, как с её ресницы сорвалась капля. Блеснула под луной. Упала на порог сарая.

И замёрзла. Сразу. Маленькой круглой льдинкой.

Утром Василиса пришла с Модестом и с сантиметровой

лентой.

— Встань к косяку, — сказала она девочке. — Ровно. Пятками к стене.

Девочка встала. Василиса отметила карандашом на дверном косяке сарая — над белой макушкой. Записала дату. «13.11».

— Зачем? — спросил Михеич.

— Модест сказал, — ответила Василиса.

Модест сидел на перевёрнутом ящике. Смотрел на девочку.

— Она тает, — сказал он. Не Михеичу — Михеич бы услышал только «мяу». Василисе. — Не от тепла. От другого. — Кот помолчал. — В тридцать третьем она шла по Дворянской. Мимо всех. Ни на кого не смотрела. Ни к кому не подходила. — Он перевёл взгляд на Михеича. — А тут — «деда». Шарф. Табуретка рядом в три часа ночи. — Модест вздохнул. Тяжело. По-стариковски. — Васёна, это хуже батареи. Батарею можно не трогать. А это — само.

— Что — само?

— Привязывается, — сказал Модест. — Она привязывается. К нему. К шарфу. К пломбиру. К соседским детям. — Он помолчал. — А каждая ниточка, которая к ней от тёплого тянется, — это капля.

Василиса повернула ручку.

Ледяные звенящие нитки — те, что вчера расходились от девочки во все стороны, к снегу, к инею, на север, — были на

месте. Но среди них, тонкие, неуверенные, появились другие. Тёплые. Не голубые — разные. Одна — к Михеичу, через шарф, толстая уже, как шерстяная пряжа. Одна — к Тане и Ване Сорокиным, в соседний двор, тонкая, розовая. Одна — совсем тоненькая, к Тамаре Геннадьевне, с её мокрым рукавом и сорока восемью пломбирами. Одна — к Гаше.

И на каждой — там, где тёплая нитка касалась девочки, — блестела капля.

Через неделю на косяке сарая было шесть отметок.

Василиса приходила каждое утро. Меряла. Записывала.

«13.11» — сто восемнадцать сантиметров.

«15.11» — сто семнадцать.

«17.11» — сто шестнадцать с половиной.

«19.11» — сто пятнадцать.

По полсантиметра в день. Иногда — по сантиметру. Когда Таня и Ваня приходили играть в снежки. Когда Гаша учила её считать до десяти. Когда Михеич читал ей вслух старую книжку — «Морозко», в мягкой обложке, с картинками, Клавину, из детства, — и она слушала, не мигая, и в конце спросила: «А почему падчерицу он отпустил, а мачехину дочку — заморозил?» — и Михеич ответил: «Потому что падчерица ему сказала „тепло, батюшка„, хотя ей было холодно. Из вежливости», — и девочка долго молчала, а потом сказала: «Я бы тоже отпустила. Вежливых — надо отпускать», — и с ресниц у неё упали три капли подряд.

Таяла не только высота.

Косички стали короче. Белое мерцающее — тоньше. Иней на ресницах больше не нарастал — только капли. Голос — тот, что звенел сосулькой, — стал мягче. Иногда, если прислушаться, в нём проскальзывало что-то тёплое. Детское. Совсем человеческое.

Михеич этого не видел. Или делал вид, что не видит. Он спал в сарае — каждую ночь, на раскладушке у двери, в двух тулупах и в валенках. Василиса уговаривала. Егор уговаривал. Зинаида Павловна приходила с блокнотом и зачитывала статистику пневмонии у пенсионеров старше восьмидесяти. Михеич выслушал. Сказал: «Зина, ты права». И пошёл спать в сарай.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.